

**Михаил Булгаков**

**Москва Краснокаменная.  
Рассказы, фельетоны 20-х  
ГОДОВ**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
Б90

**Булгаков М.**  
Б90 Москва Краснокаменная. Рассказы, фельетоны 20-х годов / Михаил Булгаков – М.: Книга по Требованию, 2012. – 140 с.

**ISBN 978-5-4241-3427-2**

Первые публикации М. Булгакова, будущего автора гениальных "Бега", "Белой гвардии", "Мастера и Маргариты", приходятся на начало и середину 1920-х годов. Это были рассказы и фельетоны, сатирически отображающие "новый советский быт", новую московскую действительность...

В них чувствовался уже тот яд, которым в полной мере пропитаны страницы "Дьяволиады", "Роковых яиц" и "Собачьего сердца". Ведь не следует забывать, что действие этих блистательно-глумливых, обнаживших на несколько десятилетий вперед самую суть нового строя повестей происходит на тех же самых улицах и с участием тех же самых персонажей, что и в фельетонах "Приключения покойника", "Брачная катастрофа", "Говорящая собака", "Праздник с сифилисом" и многих других, вошедших в настоящее издание под общим названием "Москва краснокаменная".

**ISBN 978-5-4241-3427-2**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2012

Михаил Булгаков  
Москва Краснокаменная



# Неделя просвещения

Заходит к нам в роту вечером наш военком и говорит мне:

— Сидоров!

А я ему:

— Я!

Посмотрел он на меня пронзительно и спрашивает:

— Ты, — говорит, — что?

— Я, — говорю, — ничего...

— Ты, — говорит, — неграмотный?

Я ему, конечно:

— Так точно, товарищ военком, неграмотный.

Тут он на меня посмотрел еще раз и говорит:

— Ну, коли ты неграмотный, так я тебя сегодня вечером отправлю на «Травиату»!<sup>1</sup>

— Помилуйте, — говорю, — за что же? Что я неграмотный, так мы этому не причинны. Не учили нас при старом режиме.

А он отвечает:

— Дурак! Чего испугался? Это тебе не в наказание, а для пользы. Там тебя просвещать будут, спектакль посмотришь, вот тебе и удовольствие.

А мы как раз с Пантелеевым из нашей роты нацелились в этот вечер в цирк пойти.

Я и говорю:

— А нельзя ли мне, товарищ военком, в цирк уволниться вместо театра?

А он прищурил глаз и спрашивает:

— В цирк?.. Это зачем же такое?

— Да, — говорю, — уж больно занятно... Ученого слона выводить будут, и опять же рыжие, французская борьба...

Помахал он пальцем.

— Я тебе, — говорит, — покажу слона! Несознательный элемент! Рыжие... рыжие! Сам ты рыжая деревенщина! Слоны-то ученые, а вот вы, горе мое, неученые! Какая тебе польза от цирка? А? А в театре тебя просвещать будут... Мило, хорошо... Ну, одним словом, некогда мне с тобой долго разговаривать... Получай билет, и марш!

Делать нечего — взял я билетик. Пантелеев, он тоже неграмотный, получил билет, и отправились мы. Купили три стакана семечек и приходим в «Первый советский театр».

Видим, у загородки, где впускают народ, — столпотворение вавилонское. Валом лезут в театр. И среди наших неграмотных есть и грамотные, и все больше барышни. Одна было и сунулась к контролеру, показывает билет, а тот ее и спрашивает:

— Позвольте, — говорит, — товарищ мадам, вы грамотная?

А та сдуру обиделась:

— Станный вопрос! Конечно, грамотная. Я в гимназии училась!

— А, — говорит контролер, — в гимназии. Очень приятно. В таком случае позвольте вам пожелать до свидания!

И забрал у нее билет.

— На каком основании, — кричит барышня, — как же так?

— А так, — говорит, — очень просто, потому пускаем только неграмотных.

— Но я тоже хочу послушать оперу или концерт.

— Ну, если вы, — говорит, — хотите, так пожалуйста в Кавсоюз. Туда всех ваших грамотных собрали — доктора там, фершала, профессора. Сидят и чай с патокою пьют, потому им сахару не дают, а товарищ Куликовский им романсы поет.

Так и ушла барышня.

Ну, а нас с Пантелеевым пропустили беспрепятственно и прямо провели в партер и посадили во второй ряд.

Сидим.

Представление еще не начиналось, и потому от скуки по стаканчику семечек жевали. Посидели мы так часика полтора, наконец стемнело в театре.

Смотрю, лезет на главное место огороженное какой-то. В шапочке котиковой и в пальто. Усы, борода с проседью и из себя строгий такой. Влез, сел и первым делом на себя пенсне одел.

Я и спрашиваю Пантелеева (он хоть и неграмотный, но все знает):

— Это кто же такой будет?

А он отвечает:

— Это дери, — говорит, — жер. Он тут у них самый главный. Серьезный господин!

— Что ж, — спрашиваю, — почему ж это его напоказ сажают за загородку?

— А потому, — отвечает, — что он тут у них самый грамотный в опере. Вот его для примеру нам, значит, и выставляют.

— Так почему ж его задом к нам посадили?

— А, — говорит, — так ему удобнее оркестром хороводить!..

А дирижер этот самый развернул перед собой какую-то книгу, посмотрел в нее и махнул белым прутиком, и сейчас же под полом заиграли на скрипках. Жалобно, тоненько, ну прямо плакать хочется.

Ну, а дирижер этот действительно в грамоте оказался не последний человек, потому два дела сразу делает — и книжку читает, и прутом размахивает. А оркестр нажаривает. Дальше — больше! За скрипками на дудках, а за дудками на барабане. Гром пошел по всему театру. А потом как рывкнет с правой стороны... Я глянул в оркестр и кричу:

— Пантелеев, а ведь это, побей меня Бог, Ломбард,<sup>2</sup> который у нас на пайке в полку!

А он тоже заглянул и говорит:

— Он самый и есть! Окромя его, некому так здорово врезать на тромбоне!

Ну, я обрадовался и кричу:

— Bravo, бис, Ломбард!

Но только, откуда ни возьмись, милиционер, и сейчас ко мне:

— Прошу вас, товарищ, тишины не нарушать!

Ну, замолчали мы.

А тем временем занавеска раздвинулась, и видим мы на сцене — дым коромыслом! Которые в пиджаках кавалеры, а которые дамы в платьях танцуют, поют. Ну, конечно, и выпивка тут же, и в девятку то же самое.

Одним словом, старый режим!

Ну, тут, значит, среди прочих Альфред. Тозке пьет, закусывает.

И оказывается, братец ты мой, влюблен он в эту самую Травиату. Но только на словах этого не объясняет, а все пением, все пением. Ну, и она ему то же в ответ.

И выходит так, что не миновать ему жениться на ней, но только есть, оказывается, у этого самого Альфреда папаша, по фамилии Любченко. И вдруг, откуда ни возьмись, во втором действии он и шашь на сцену.

Роста небольшого, но представительный такой, волосы седые, и голос крепкий, густой — беривтон.

И сейчас же и запел Альфреду:

— Ты что ж, такой-сякой, забыл край милый свой?

Ну, пел, пел ему и расстроил всю эту Альфредову махинацию, к черту. Напился с горя Альфред пьяный в третьем действии, и устрой он, братцы вы мои, скандал здоровеннейший — этой Травиате своей.

Обругал ее, на чем свет стоит, при всех.

Поет:

— Ты, — говорит, — и такая и эдакая, и вообще, — говорит, — не желаю больше с тобой дела иметь.

Ну, та, конечно, в слезы, шум, скандал!

И заболел она с горя в четвертом действии чахоткой. Послали, конечно, за доктором.

Приходит доктор.

Ну, вижу я, хоть он и в сюртуке, а по всем признакам наш брат — пролетарий. Волосы длинные, и голос здоровый, как из бочки.

Подошел к Травиате и запел:

— Будьте, — говорит, — покойны, болезнь ваша опасная, и непременно вы померете!

И даже рецепта никакого не прописал, а прямо попрощался и вышел.

Ну, видит Травиата, делать нечего — надо помирать.

Ну, тут пришли и Альфред и Любченко, просят ее не помирать. Любченко уж согласие свое на свадьбу дает. Но ничего не выходит!

— Извините, — говорит Травиата, — не могу, должна помереть.

И действительно, попели они еще втроем, и померла Травиата.

А дирижер книгу закрыл, пенсне снял и ушел. И все разошлись. Только и всего.

Ну, думаю: слава Богу, просветились, и будет с нас! Скучная история!

И говорю Пантелееву:

— Ну, Пантелеев, айда завтра в цирк!

Лег спать, и все мне снится, что Травиата поет и Ломбард на своем тромбоне крякает.

Ну-с, прихожу я на другой день к военкому и говорю:

— Позвольте мне, товарищ военком, сегодня вечером в цирк увольниться...

А он как рыкнет:

— Все еще, — говорит, — у тебя слоны на уме! Никаких цирков! Нет, брат, пойдешь сегодня в Совпроф на концерт. Там вам, — говорит, — товарищ Блох со своим оркестром Вторую рапсодию играть будет!<sup>3</sup>

Так я и сел, думаю: «Вот тебе и слоны!»

— Это что ж, — спрашиваю, — опять Ломбард на тромбоне нажаривать будет?

— Обязательно, — говорит.

Оказия, прости Господи, куда я, туда и он с своим тромбоном!

Взглянул я и спрашиваю:

— Ну, а завтра можно?

— И завтра, — говорит, — нельзя. Завтра я вас всех в драму пошлю.

— Ну, а послезавтра?

— А послезавтра опять в оперу!

И вообще, говорит, довольно вам по циркам шляться. Настала неделя просвещения.

Осатанел я от его слов! Думаю: этак пропадешь совсем. И спрашиваю:

— Это что ж, всю нашу роту гонять так будут?

— Зачем, — говорит, — всех! Грамотных не будут. Грамотный и без Второй рапсодии хорош! Это только вас, чертей неграмотных. А грамотный пусть идет на все четыре стороны!

Ушел я от него и задумался. Вижу, дело табак! Раз ты неграмотный, выходит, должен ты лишиться всякого удовольствия...

Думал, думал и придумал.

Пошел к военкому и говорю:

— Позвольте заявить!

— Заявляй!

— Дозвольте мне, — говорю, — в школу грамоты.

Улыбнулся тут военком и говорит:

— Молодец! — и записал меня в школу.

Ну, походил я в нее, и что вы думаете, выучили-таки!

И теперь мне черт не брат, потому я грамотный!

## Комментарии. В. И. Лосев

### НЕДЕЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Впервые — газета «Коммунист». Владикавказ. 1921. 1 апреля. С подписью: «Михаил Булгаков». Затем — Юность. 1974. № 7.

Печатается по тексту журнальной публикации.

Фельетон написан на основе реальных событий, которые наблюдал Булгаков во Владикавказе. 14–20 марта 1921 г. в городе проходила «неделя просвещения», по следам которой и написан фельетон. Более того, Булгаков принимал в этом мероприятии активное участие, выступив с докладом перед красноармейцами. В это же время в «Первом советском театре» шла его пьеса «Парижские коммунары» (см.: *Яновская Л.* Михаил Булгаков — фельетонист//Юность. 1975. № 8).

# Торговый ренессанс

Для того, кто видел Москву всего каких-нибудь полгода назад, теперь она неузнаваема, настолько резко успела изменить ее новая экономическая политика (нэпо, по сокращению, уже получившему права гражданства у москвичей).

Началось это постепенно... понемногу... То тут, то там стали отваливаться деревянные щиты, и из-под них глянули на свет после долгого перерыва запыленные и тусклые магазинные витрины. В глубине запущенных помещений загорелись лампочки, и при свете их зашевелилась жизнь: стали приколачивать, прибивать, чинить, распаковывать ящики и коробки с товарами. Вымытые витрины засияли. Вспыхнули сильные круглые лампы над выставками или узкие ослепительные трубки по бокам окон.

Трудно понять, из каких таинственных недр обнищавшая Москва ухитрилась извлечь товар, но она достала его и щедрой рукой вытряхнула за зеркальные витрины и разложила на полках.

Зашевелились Кузнецкий, Петровка, Неглинный, Лубянка, Мясницкая, Тверская, Арбат. Магазины стали расти как грибы, окропленные живым дождем нэпо... Государственные, кооперативные, артельные, частные... За кондитерскими, которые первые повсюду загорелись огнями, пошли галантерейные, гастрономические, писчебумажные, шляпные, парикмахерские, книжные, технические и, наконец, огромные универсальные.

На оголенных стенах цветной волной полезли вывески, с каждым днем новые, с каждым днем все больших размеров. Кое-где они сделаны на скорую руку, иногда просто написаны на полотне, но рядом с ними появились постоянные, по новому правописанию, с яркими аршинными буквами. И прибиты они огромными, прочными костылями.

Надолго, значит.

И старые погнувшиеся и облупленные железные листы среди них как будто подтягиваются и оживают, и хилые твердые знаки так странно режут глаз.

Дальше больше, шире...

Не узнать Москвы. Москва торгует...

На Кузнецком целый день кипит на обледеневших тротуарах толчея пешеходов, извозчики едут вереницей, и автомобили летят, хрипя сигналами.

За сотенными цельными стеклами буйная гамма ярких красок: улыбаются раскрашенными ликами фигурки-игрушки артелей кустарей. Выше, в бывшем магазине Шанкса, из огромных витрин тучей глядят дамские шляпы, чулки, ботинки, меха. Это один из универсальных магазинов. Моск. потр. общ. Оно открыло восемь таких магазинов по всей Москве.

На Петровке в сумеречные часы дня из окон на черные от народа тротуары льется непрерывный электрический свет. Блестят окна конфексионеров. Сотни флаконов с лучшими заграничными духами, граненых, молочно-белых, желтых, разных причудливых форм и фасонов. Волны материй, груды галстуков, кружева, ряды коробок с пудрой. А вон безжизненно-томно сияют раскрашенные лица манекенов, и на плечи их наброшены бесценные по нынешним временам палантины.

Ожили пассажи.

Громада «Мюр и Мерилиза»<sup>4</sup> еще безмолвно и пусто чернеет своими громадными стеклами, но уже в нижнем этаже исчезли из витрины гигантские раскрашенные карикатуры на Нуланса и По,<sup>5</sup> а из дверей выметают сор. И Москва знает уже, что в феврале здесь откроют универсальный магазин Мосторга с двадцатью пятью отделениями и прежние директора Мюра войдут в его правление.

Кондитерские на каждом шагу. И целые дни и до закрытия они полны народу. Полки завалены белым хлебом, калачами, французскими булками. Пирожные бесчисленными рядами устилают прилавки. Все это чудовищных цен. Но цены в Москве давно уже никого не пугают, и сказочные, астрономические цифры миллионов (этого слова уже давно нет в Москве, оно окончательно вытеснено словом «лимон») пропускают за день блестящие, неустанно щелкающие кассы.

В бывшей булочной Филиппова на Тверской, до потолка заваленной белым хлебом, торгами, пирожными, сухарями и баранками, стоят непрерывные хвосты.

Выставки гастрономических магазинов поражают своей роскошью. В них горы коробок с консервами, черная икра, семга, балык, копченая рыба, апельсины. И всегда у окон этих магазинов как зачарованные стоят прохожие и смотрят не отрываясь на деликатесы...

Все тридцать четыре гастрономических магазина М. П. О. и частные уже оповестили в объявлениях о том, что у них есть и русское, и заграничное вино, и москвичи берут его нарасхват.

В конце ноября «Известия» в первый раз вышли с объявлениями, и теперь ими пестрят страницы всех газет и торговых бюллетеней. А самолеты авиационной группы «Воздушный флот» уже сделали первый опыт разброски объявлений над Москвой, и теперь открыт прием объявлений «С аэроплана». Строка такого объявления стоит 15 руб. на новые дензнаки.

Движение на улицах возрастает с каждым днем. Идут трамваи по маршрутам 3, 6, 7, 16, 17, А и Б, и извозчики во все стороны везут москвичей и бойко торгуются с ними:

— Пожалуйте, господин! Рублик без лишнего (100 тыс.!) Со мной ездили!

У «Метрополя», у Воскресенских ворот, у Страстного монастыря — всюду на перекрестках воздух звенит от гомона бесчисленных торговцев газетами, папиросами, тянучками, булками.

У Ильинских ворот стоят женщины с пирожками в две шеренги. А на Ильинке с серого здания с колоннами исчезла надпись «Горный совет» и повисла другая, с огромными буквами: «Биржа», и в нем идут биржевые собрания и проходят через маклеров миллиардные сделки.

До поздней ночи движется, покупает, продает, толчется в магазинах московский люд. Но и поздним вечером, когда стрелки на освещенных уличных часах неуклонно ползут к полночи, когда уже закрыты все магазины, все еще живет неутомная Тверская.

И режут воздух крики мальчишек:

— «Ира рассыпная!» «Ява!» «Мурсал!»

Окна бесчисленных кафе освещены, и из них глухо слышится взвизгивание скрипок.

До поздней ночи шевелится, покупает и продает, ест и пьет за столиками народ, живущий в не виданном еще никогда торгово-красном Китай-городе.

Москва, 14/1 1922 г.

## Комментарии. В. И. Лосев

### Торговый ренессанс

Впервые — Социологические исследования. 1988. № 1. С подписью: «М. Булл.» Имеет дату: «14.I.1922 г.».

Печатается по автографу, хранящемуся в НИОР РГБ (ф. 562, к. 1, ед. хр. 2).

Фельетон написан в ночь на 14 января 1922 г. и был отправлен Булгаковым в Киев сестре Н. А. Булгаковой-Земской для публикации в местных газетах. Однако ей не удалось опубликовать фельетон.

Сохранилось письмо Булгакова к сестре от 13 января, которое представляет интерес как дополнительная информация к фельетону. Вот некоторые фрагменты из него:

«...В этом письме посылаю тебе корреспонденцию „Торговый ренессанс“. Я надеюсь, что ты не откажешь... отправиться в любую из киевских газет по твоему вкусу (предпочтительно большую ежедневную) и предложить ее срочно.

Результаты могут быть следующими:

1) ее не примут, 2) ее примут, 3) примут и заинтересуются. О первом случае говорить нечего. Если второе, получи по ставкам редакции гонорар и переведи его мне, удержав в свое пользование из него сумму, по твоему расчету необходимую тебе... Если же 3, предложи меня в качестве столичного корреспондента по каким угодно им вопросам или же для подвального („подвал“ — низ газеты, в котором ставятся фельетоны. Впрочем, вероятно, ты знаешь), художественного фельетона о Москве. Пусть вышлют приглашение и аванс. Скажи им, что я завед. хроникой в „Вестнике“, профессиональный журналист. Если напечатают „Ренессанс“, пришли *заказной* бандеролью... Я надеюсь, что ты извинишь меня за беспокойство. Хотел бы тебе написать еще многое помимо этих скучных дел, которыми я вдобавок тебя и беспокою (единственно, что меня утешает, это мысль, что я так или иначе сумею тебе возместить хлопоты в скором времени), ты поймешь, что я должен испытывать сегодня, вылетая вместе с „Вестником“ в трубу.

Одним словом, раздавлен.

А то бы я описал тебе, как у меня в комнате в течение ночи под сочельник и в сочельник шел с потолка дождь...

Извини за неряшливое письмо.

Писал ночью, так же как и „Ренессанс“. Накорябал на скорую руку черт знает что. Противно читать.

Переутомлен я до того, что дальше некуда» (НИОР РГБ, ф. 562, к. 19, ед. хр. 23, л. 2).

Вскоре после этого письма Булгакова постигают два несчастья: 1 февраля 1922 г. в Киеве умирает от тифа мать, а он сам в это время вступает в полосу жесточайшего голода (запись в дневнике 9 февраля: «Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем... Обегал всю Москву — нет места»).

# Москва краснокаменная

## І. УЛИЦА

Жужжит «Аннушка», звонит, трещит, качается. По Кремлевской набережной летит к Храму Христа.

Хорошо у Храма. Какой основательный кус воздуха навис над Москвой-рекой от белых стен до отвратительных бездымных четырех труб, торчащих из Замоскворечья.

За Храмом, там, где некогда величественно восседал тяжелый Александр III<sup>6</sup> в сапогах гармоникой, теперь только пустой постамент. Грузный комод, на котором ничего нет и ничего, по-видимому, не предвидится. И над постаментом воздушный столб до самого синего неба.

Гуляй — не хочу.

Зимой массивные ступени, ведущие от памятника, исчезали под снегом, обледеневали. Мальчишки — «„Ява" рассыпная!» — скатывались со снежной горы на салазках и в пробегавшую «Аннушку» швыряли комьями. А летом плиты у Храма, ступени у пьедестала пусты. Маячат две фигуры, спускаются к трамвайной линии. У одной за плечами зеленый горб на ремнях. В горбе — паек. Зимой пол-Москвы с горбами ходили. Горбы за собой на салазках таскали. А теперь — довольно. Пайков гражданских нет. Получай миллионы — вали в магазин.

У другой — нет горба. Одет хорошо. Белый крахмал, штаны в полоску. А на голове выгоревший в грозе и буре бархатный околыш. На околыше — золотой знак. Не то молот и лопата, не то серп и грабли, во всяком случае, не серп и молот. Красный спец. Служит не то в ХМУ, не то в ЦУСе. Удачно служит, не нуждается. Каждый день ходит на Тверскую в гигантский магазин Эм-пе-о (в легендарные времена назывался Елисейев) и тычет пальцем в стекло, за которым лежат сокровища:

— Э-э... два фунта...

Приказчик в белом фартуке:

— Слуш...с-с...

И чирк ножом, но не от того куска, в который спец тыкал, что посвежее, а от того, что рядом, где подозрительнее.

— В кассу прошу...

Чек. Барышня бумажку на свет. Не ходят без этого бумажки никак. Кто бы в руки ни взял, первым долгом через нее на солнце. А что на ней искать надо, никто в Москве не ведает. Касса хлопнула, прогремела и съела десять спецовых миллионов. Сдачи: две бумажки по сту.

Одна настоящая с водяными знаками, другая, тоже с водяными знаками, — фальшивая.

В Эмпео-елисейевских зеркальных стеклах — все новые покупатели. Три фунта. Пять фунтов. Икра черная лоснится в банках. Сиги копченые. Пирамиды яблоч, апельсинов. К окну какой-то самоистязатель носом прилип, выкатил глаза на люстры-гроздь, на апельсины. Головой крутит. Проспал с 18 по 22 год!

А мимо, по избитым торцам, — велосипедист за велосипедистом. Мотоциклы. Авто. Свистят, каркают, как из пулеметов стреляют. На автоконьяке ездят. В ав-